





ДМИТРИЙ
БЫКОВ

пятое действие



МОСКВА
2020

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Б95

Оформление переплета
и иллюстрация на обложке *Елены Околицыной*

Иллюстрация в марке серии:
© bsd / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Быков, Дмитрий Львович.

Б95 Пятое действие / Дмитрий Быков. — Москва : Эксмо, 2020. — 384 с. — (Собрание больших поэтов).

ISBN 978-5-04-106431-0

Поэтические строки Дм. Быкова гармонично и естественно выстраиваются в панораму жизни отдельной личности, страны, эпохи и мира в целом. «Быков — поэт вертикали... в основании которой уверенность в том, что выше тебя есть некто, к кому ты можешь обращаться и кто способен тебя услышать и ответить», — пишет в предисловии к этой книге М. Эдельштейн. Точность, стремительность, подлинность и глубина переживаний свойственны его стиху. В новой книге представлены лучшие избранные и совсем новые стихотворения поэта.

УДК 821.161.1-1

ББК 84(2Рос=Рус)6-5

© Быков Д. А., 2020

© Эдельштейн М. Ю., предисловие, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-106431-0

ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди бесчисленных
призванных на пир
не всем нальют
божественный напиток,
но мне нальют, прошу меня
простить...

Дмитрий Быков

Этих стихов, по всем правилам, не должно существовать. Их просто не может быть потому, что не может быть никогда. Ну в самом деле, что это за стихи такие: длинные, многословные, с перечислительными рядами и хлесткими афоризмами, выдающими изрядный газетно-журнальный стаж? С патетикой и риторикой? С минимумом метафор, с легко вычленяемой, по всем канонам школьного сочинения, «главной мыслью»?

И это та самая загадка, без разгадки которой невозможен разговор о стихах (да и о прозе) Дмитрия Быкова. Почему поэт, делающий

все наоборот, поступающий так, как нельзя (не «не положено», а действительно, кроме шуток, нельзя), оказывается едва ли не единственным, кто знает, как надо?

Проще всего — и потому очень соблазнительно — указать в качестве ответа на феноменальное версификационное мастерство Быкова. На его способность говорить стихами на любую тему так же легко, как прозой, писать километрами без спотыканий, помарок и черновиков. На огромные еженедельные стихотворные фельетоны в «Новой газете» и «Собеседнике», на поэтическое шоу «Гражданин поэт». Наконец, на его постоянную готовность к экспромтам — нередко блестящим¹.

¹ Лет 15 назад в доме у Быкова мы разговорились с писательницей Анной Матвеевой. У нее тогда вышел новый роман, я похвастался, что писал рецензию на предыдущий, и она решила подарить мне книгу. Достала экземпляр, взяла ручку и стала сочинять дарственную. Время идет, все вокруг выпивают и закусывают, а дарственная никак не сочиняется. Приехало такси, которое должно везти Матвееву в аэропорт, ждет у подъезда — а дарственной все нет. В этот момент к нам развернулся Быков, выяснил, в чем проблема, вы-

Однако легкость стихопорождения — качество, поэзии скорее противопоказанное. Мастера рифмованного table-talk'a далеко не всегда оказываются большими поэтами. Сочетание того и другого в случае Быкова — скорее совпадение, чем причинно-следственная зависимость.

Думаю, он и сам прекрасно это понимает и часто играет на зазоре между тем и другим.

Так, на резком переходе от остроумной болтовни к поэзии построено одно из лучших быковских стихотворений — «Свежесть», где почти полтора десятка строф поэт развлекает читателя описанием военной диорамы в одном из приморских городков:

хватил у автора книгу и ручку и стремительно написал на форзаце:

Я вам желаю, Эдельштейн,
Как можно чаще пить портвейн.
Когда со вкусом пьет еврей его,
Я просто млею.

А. Матвеева.

Вручил мне книгу, и счастливый автор побежала вниз по лестнице к ожидающей машине.

На первом плане мы видим подвиг вахмистра
Добченко:
 Фуражка сбита, грудь открыта, в крови рот.
 В чем заключался подвиг — забыто, и это,
в общем-то,
 Не умаляет заслуг героя. Наоборот.

На среднем плане мы видим прорыв батареи
Тушина,
 Тушин сидит, пушки забыв, фляжку открыв.
 Поскольку турецкая оборона и так разрушена,
 Он отказался их добивать, и это прорыв.

На заднем плане легко видеть сестру Тату —
 Правее флешей Бородина, левой скирд.
 Она под вражеским огнем дает солдату:
 Один считает, что наркоз, другой — что спирт —

и вдруг перед самым концом взрывается:

Вот так, бывало, зимой, утром, пока молод,
 Выходишь из дома возлюбленной налегке —
 И свежесть смерти, стерильный стальной холод
 Пройдет, как бритва, по шее и по щеке —

и все стихотворение за счет резкости этого контраста превращается из яркой игрушки в шедевр.

Так что версификация версификацией, но ответ, полагаю, совсем в другом. Все дело в том, что Быков — поэт вертикали. Не той «вертикали власти», о которой мы два десятилетия слышим из телевизора, а настоящей, в основании которой уверенность в том, что выше тебя есть некто, к кому ты можешь обращаться и кто способен тебя услышать и ответить.

Однажды Александра Блока попросили оценить стихи Анны Ахматовой. Блок долго отказывался, а потом сказал: «Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом»¹.

Рискну заметить, что Дмитрий Быков этому блоковскому критерию удовлетворяет: о чем бы он ни писал, он всегда ощущает присутствие рядом Бога.

Именно рядом, ибо Бог Быкова антропоморфен: добрый, усталый и теплый. Если он мучает поэта, превращая его в карандаш, то это лишь затем, чтобы в конце согреть:

¹ Е. Ю. Кузьмина-Караваева. «Встречи с Блоком».

И когда после всех мучений
Я забыл слова на родном —
Ты, как всякий истинный гений,
Пишешь сам, о себе одном.

Ломая, переворачивая,
Затачивая, чиня,
Стачивая, растрачивая
И грея в руке меня.

Бог — это тот, кто отдает приказ прыгать без парашюта с горящего самолета, но перед самой землей непременно протягивает тебе руку: «Последний шанс последнего из последних, / Поскольку после последнего — сразу Он».

И если он воплощается, то в соседа по окопу, небритого, израненного, полуседого. И точно не всемогущего:

Я не вижу его верховным, как ни крути.
Генеральный штаб не настолько прост.
Полагаю, над ним не менее десяти
Командиров, от чьих генеральских звезд

Тяжелеет небо, глядящее на Москву
Как на свой испытательный полигон.
До победы нашей я точно не доживу —
И боюсь сказать, доживет ли он.

Вот тебе и ответ, как он терпит язвы земли,
Не спасает детей, не мстит палачу.
Авиации нет, снаряды не подвезли,
А про связь и снабжение я молчу.

Этот Бог зависит от человека не меньше,
чем тот от него — «Это он навек исчезнет, ес-
ли я навек исчезну / Или даже если что не так
скажу»:

Кто из нас сидит в окопе, кто танцует на прицеле —
Не подскажет никакое колдовство.
Хорошо тебе, и плохо мне, держащемуся еле,
А ему — боюсь и думать каково.

Есть еще, правда, другой — «Бог созиданья,
Бог поступка, / Водитель орд, меситель масс, /
Извечный враг всего, что хрупко», «С ладонью
жесткой, как напильник, / И лаской грубой,
как наждак», один из тех, чьи генеральские
звезды проступают на московском небе, — но:
«И я тебе такой не нужен, / И ты такой не ну-
жен мне».

И мир прекрасен потому, что в нем «все
о Боге, всегда о Боге». В романе Быкова «Орфо-
графия» есть как бы второстепенный (на самом

деле — главный) герой — чудака-антиквар Фридрих Клингенмайер, чье собрание «раритетов и древностей» оказывается прозрачной метафорой мироздания, где Клингенмайер играет роль Творца. Он наблюдает изнутри то, на что другие смотрят снаружи, и постигает смысл там, где остальные видят случайный набор вещей. Он единственный способен заметить, как сквозь любой затейливый, но бесполезный орнамент проступает иной узор — вязь божественного промысла. Лучшие стихи Быкова — они как раз об этом.

И поэт оказывается нужен миру только потому, что он этому миру вровень — так же уязвим, недолговечен, смертен, как всё вокруг: «Только тот тебя и заметит, кто с тобою вместе умрет — / И тебя, о мартовский ветер, и тебя, о мартовский кот».

Вообще это ощущение хрупкости человека и мира — основное переживание быковского героя:

Можно сделать дырку в моем боку,
Можно выжать меня, как губку,
Можно сжечь меня, истолочь в муку,
Провернуть меня в мясорубку,

Из любого дома погнать взашей,
Затоптать, перевернуть безбожно —
Но и это будет едва ль страшней,
Чем сознание, что это можно.

Самые обыкновенные человеческие страхи и фобии, удешевленные чувствительностью поэта. Поэзия ведь вообще не открывает ничего нового. Она сделана из того, что вы и сами знали о жизни, но не умели назвать. «Поэт есть тот, кто хочет то, что все хотят хотеть» (*Ольга Седякина*. «Стансы в манере Александра Попа»). Отсюда постоянно сопровождающее читателя хороших стихов ощущение, что все это твоей парой глаз увидено, твоей кожей прочувствовано.

И в стихах, и в прозе Быкова очень много тоски. Тоска, если она подлинная тоска, а не романтический суррогат, — самое высокое из человеческих чувств, писать ее чрезвычайно сложно, гораздо сложнее, чем любовь, скажем. Быкову удается. Лучшая, пожалуй, быковская книга, «Эвакуатор», была в чистом виде романом о тоске, там просто ничего больше не было.

Тоска эта вырастает из пронзительного и никогда не оставляющего поэта ощущения бренности всего сущего. Мир — пыльца на крыльях бабочки, в нем нет ничего прочного, устойчивого, на что можно было бы опереться, положиться, что можно было бы удержать — «Но я потеряю вас, несчастные вы мои». Любимая уйдет, снег растает, лист пожухнет, дом разрушится, сталь заржавеет. И, главное, это случится с неизбежностью, закроешь глаза — проснешься в другом мире, где все неуловимо, но бесповоротно изменилось.

Не власть поменяли, не танки ввели,
А попросту кто-то увидел с балкона
Кленовые листья на фоне земли:
Увидел и понял, что все непреклонно
И необратимо.

В те далекие времена, когда «Известия» еще были вменяемой газетой, Быков напечатал там эссе про Черубину де Габриак и Серебряный век — из лучших быковских эссе и, риску сказать, из лучшего, что вообще написано о Серебряном веке. Была эпоха, поверхностная

и глубокая одновременно, люди ценили мишуру и играли в куклы, но из этой мишуры, как ни странно, выросло настоящее искусство и настоящее знание. А потом пришли злые люди и наступили на кукол — и на игравших в них — кованым сапогом. И все эти игры получили дополнительное трагическое измерение и осветились другим светом.

Про этих строителей кукольных домиков Быков написал роман «Остромов», стихотворения «Ведь прощаем мы этот Содом...» и «Нет, уж лучше эти, с модерном и постмодерном...». Тема эта потому так его и занимает, что Серебряный век оказывается универсальной метафорой жизни вообще — никто не знает, что будет завтра, но все предчувствуют скорый конец и оттого особенно старательно закрывают глаза.

Еще более универсальной метафорой, разумеется, оказывается любовь. «Но знали безмолвно и бесповоротно, / Что вместе — нельзя и отдельно — нельзя», — эту максиму Быков сформулировал еще в 1989 году и сделал из нее инвариант всей своей лирики и почти всех ро-